

# «ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»

[Д. С. Милля]

(кн. 1)

## ЗАМЕЧАНИЯ К ТРЕМ ПЕРВЫМ ГЛАВАМ ПЕРВОЙ КНИГИ

### I. Гипотетический метод исследования

Мы видели уже много примеров тому, какими приемами пользуется политическая экономия при решении своих задач. Эти приемы математические. Иначе и быть не может, потому что предмет науки — количества, подлежащие счету и мере, понимаемые только через вычисление и измерение. Например, спрашивается: полезно ли было для Англии отменение хлебных законов, то есть дозволение беспошлинно ввозить иностранный хлеб?<sup>1</sup> Тотчас же вычисляется, сколько фунтов хлеба средним числом приходилось в Англии, до отменения хлебных законов, на потребление человеку, сколько приходится теперь; оказывается, что теперь средняя цифра потребления хлеба больше, и дело решено безвозвратно: отмена хлебных законов была полезна.

Цифры, доставляемые статистикою, чрезвычайно важны. Но они часто бывают недостаточны для решения именно самых коренных вопросов, вопросов о вредном или полезном влиянии каждого из основных элементов общественной жизни, рассматриваемой со стороны материального благосостояния. Статистический факт обыкновенно бывает явлением очень многосложным, зависящим от действия многочисленных элементов, перепутывающихся в нем своими влияниями так, что трудно бывает без особенных, облегчающих дело, способов распознать, какая роль принадлежит в нем известному элементу; кроме того, является вопрос: не играет ли этот элемент иной роли в других фактах? — надобно было бы перебрать все те факты, в произведении которых он участвует, а это очень трудно: все факты общественной жизни так перепутаны взаимным влиянием, все элементы ее так разветвляются своими последствиями по всем отраслям ее, что нельзя быть уверена, приняты ли в соображение все факты, на которых отразилось действие известного элемента, не

ускользнули ли от внимания некоторые и, быть может, самые важные действия этого элемента. Например: были ли полезны для Англии войны, которые вела она с Францией в конце прошедшего и начале нынешнего века? Очень многие находят до сих пор, что они были полезны, развили английское земледелие, английскую мануфактурную промышленность и торговлю. Большинству читателей такое мнение, конечно, кажется нелепостью. Но в подтверждение ему приводятся тысячи статистических данных. Разумеется, люди, опровергающие его, также приводят против него тысячи статистических данных. При такой многочисленности статистических данных с обеих сторон спор запутывается до того, что невозможно было бы принять тот или другой взгляд иначе, как по произволу, по личному образу мыслей, словом сказать, произносить решение по капризу, наудачу, если бы для получения точного, несомненного, бесспорного ответа не существовал иной метод, кроме метода разбора статистических данных. Но такой метод существует.

Этот метод состоит в том, что, когда нам нужно определить характер известного элемента, мы должны на время отлагать в сторону запутанные задачи и приискивать такие задачи, в которых интересующий нас элемент обнаружил бы свой характер самым несомненным образом, приискивать задачи самого простейшего состава. Тогда, узнав характер занимающего нас элемента, мы можем уже удобно распознать ту роль, какую играет он и в запутанной задаче, отложенной нами до этой поры.

Например, вместо многосложной задачи: были ли войны с Францией в конце прошлого и начале нынешнего века полезны для Англии, берется простейший вопрос, не запутанный никакими побочными обстоятельствами: может ли война быть полезна не для какой-нибудь шайки, а для многочисленной нации?

Теперь как же решить этот вопрос? Дело идет о выгоде, то есть о количестве благосостояния или богатства, об уменьшении или увеличении его, то есть о величинах, которые измеряются цифрами. Откуда же мы возьмем цифры? Никакой исторический факт не дает нам этих цифр в том виде, какой нам нужен, то есть в простейшем виде, так чтобы они зависели единственно от определяемого нами элемента, от войны; — во всяком историческом факте, как в той войне, которая возбудила этот вопрос, статистические явления и цифры определялись не одним элементом войны, а также множеством всевозможных других условий и обстоятельств.

Итак, из области исторических событий мы должны перенестись в область отвлеченного мышления, которое вместо статистических данных, представляемых историею, действует над отвлеченными цифрами, значение которых условно и которые назначаются просто по удобству.

Например, оно поступает так.

Предположим, что общество имеет 5 000 человек населения, в том числе 1 000 взрослых мужчин, трудом которых содержится все общество. Предположим, что 200 из них пошли на войну. Спрашивается, каково экономическое отношение этой войны к обществу? Увеличила или уменьшила она благосостояние общества?

Лишь только мы произвели такое простейшее построение вопроса, решение становится столь просто и бесспорно, что может быть очень легко отыскано каждым и не может быть опровергнуто никем и ничем.

Каждый, кто умеет производить умножение и деление, не задумавшись, скажет: до войны каждому работнику приходилось содержать пять человек, а во время войны, когда 200 работников отвлечены от труда, осталось 800 работников; они должны содержать себя, 4 000 человек остального населения и кроме того еще 200 бывших работников, пошедших на войну, всего 5 000 человек; стало быть, каждому приходится содержать 6,25 человек (иначе говоря, прежде 100 работников содержали 500 человек, теперь содержат 625 человек), — ясно, что положение работников стало тяжелее и что остальные члены общества не могут быть содержимы в прежнем изобилии. Ясно, что война вредна для благосостояния общества.

Читатель видит, что абсолютной величине цифр не приписывается тут никакой важности: важность только в том, увеличилась или уменьшилась известная пропорция от перемены в цифре того элемента, характер которого мы хотим узнать. Больше будет или меньше будет, вот все, что нам нужно знать, чему мы придаем важность. Если выходит «больше», оно все-таки останется «больше», какие бы цифры мы ни взяли, а если выходит «меньше», то все-таки выйдет «меньше», какие бы цифры мы ни взяли.

Например, положим, что в обществе не 5 000, а 600 000 человек; положим, что в нем не 1 000, а 150 000 работников; положим, что на войну пошли не 200 человек, а 50 000 человек, вывод будет все тот же.

До войны работник содержал 4 человек; во время войны оставалось из 150 000 человек работников только 100 000; стало быть, каждому приходится содержать по 6 человек. То же самое, что и прежде: работникам стало

тяжелее прежнего, а всему населению общества хуже прежнего.

Мы видим также, что в какой именно пропорции стало хуже, это уже зависит от величины взятых нами цифр; они брались нами предположительно, потому мы и не придавали важности точной величине пропорции. Но мы видим также, что чем бóльшая пропорция людей посылается на войну, тем больше вред, приносимый войною обществу, и потому говорим: убыточность войны для общества прямо пропорциональна числу людей, идущих на войну.

Эти выводы сохраняют свою совершенную бесспорность, полную математическую достоверность, хотя цифры брались нами просто «по предположению», просто сопровождались словом «предположим».

По этому термину, «предположение», «гипотеза», самый метод называется гипотетическим.

Возвращаясь теперь к частному, фактическому вопросу, на время отложенному нами: полезна ли была для Англии война с Францией в конце прошлого и начале нынешнего века? — мы видим, что он уже разрешен, что он допускает одно только решение: если война вообще не может быть полезна, если от нее всегда вообще беднеет общество, то, конечно, и ряд войн, о котором мы говорим, был вреден для Англии.

В этом общем смысле политико-экономические вопросы решаются посредством гипотетического метода с математическою достоверностью, лишь бы только были поставлены правильно, лишь бы только обращены были в уравнения верным образом. Решение получается в словах «увеличивается» и «уменьшается», то есть «польза» и «вред», «выгода» и «убыток».

Иное дело, если мы хотим узнать, как именно велико было вредное или полезное действие определенного нами элемента на данное общество в данном случае, как именно велик был вред, нанесенный Англии войнами с Францией в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Это уже дело истории и статистики; они должны отвечать на него своими не гипотетическими, а положительными рассказами и цифрами. Трактат, нами переводимый, занимается почти исключительно вопросами в самом общем их виде; потому к помощи истории и статистики нам реже понадобится прибегать, нежели к гипотетическому методу. Но как надобно думать о тех случаях, когда на общее решение вопроса, находимое гипотетическим способом, возражают фактами и цифрами, относящимися к одному или нескольким отдельным событиям, когда, например, на ре-

шение «война убыточна» возражают цифрами о развитии английской торговли и промышленности во время войн с Францией при республике и Наполеоне? Если эти цифры достоверны, то естественно является надобность проверить, могут ли они считаться следствиями того элемента, действию которого приписываются, или произведены были влиянием других элементов. В результате мы всегда находим, что это так, что если при существовании известного элемента были в обществе факты, противоречившие общему характеру его, найденному нами посредством гипотетического метода, то они производились действием других, противоположных ему элементов, которые могли даже пересиливать его влияние, но которых действие ослаблялось его влиянием.

Имея математический характер, гипотетический метод в сущности всегда действует цифрами; но часто уравнения, составляемые по его правилам, так немногосложны, что писатель предоставляет самому читателю вообразить в своем уме какие-нибудь цифры, а сам ограничивается только неопределенными словами «больше» и «меньше». Например: чем больше пропорция работников или взрослых мужчин в числе населения, тем благосостояние общества значительнее. Если подобные соображения относить, как и следует, к гипотетическому методу, мы увидим, что решительно вся политическая экономия развивается его помощью<sup>2</sup>. Конечно, такие неопределенные выражения, такие короткие доводы читаются легче, нежели те несколько длинные расчеты, в которых действительно выставляются цифры. Если в наших замечаниях будет довольно много расчетов и цифр, это происходит не от того, чтобы мы не понимали утомительности их для читателя; но мы обращаем внимание читателя на такие вопросы, которые слишком многими писателями решались ошибочно, фальшивое мнение о которых сильно распространено. Говорить о них только неопределенными словами «много» и «мало», «больше» и «меньше» было бы неудовлетворительно; а выводы из их правильного решения так важны, что заслуживают употребления некоторой напряженной внимательности при их исследовании. [...]

### III. О неприятности труда

«В понятии труда заключаются кроме самой деятельности и все те неприятные или тяжелые ощущения, которые соединены с этой деятельностью», говорит Милль<sup>3</sup>, — кто станет спорить с этим? Но одни ли неприятные ощу-

щения соединены с деятельностью, которая называется трудом? Милль об этом не говорит. Очень может быть, что во времена Адама Смита не представлял никакой важности вопрос о том, одну ли только неприятную сторону имеет в себе труд, или, кроме неприятных ощущений, он производит также приятные. Но теперь вопрос этот поставлен, и объяснено, что тот или иной ответ на него имеет последствия, совершенно различные для направления экономической теории.

Есть теория, утверждающая, что неприятные ощущения, производимые трудом в трудящемся человеке, происходят не из сущности самой деятельности, имеющей имя труда, а из случайных, внешних обстоятельств, обыкновенно сопровождающих эту деятельность при нынешнем состоянии общества, но устраняющихся от нее другим экономическим устройством. Теория эта прибавляет, что, напротив, сам по себе труд есть деятельность приятная, или по термину, принятому этою теориею, деятельность привлекательная, так что, если отстраняется внешняя неблагоприятная для труда обстановка, он составляет наслаждение для трудящегося.

Мы должны предоставить личному мнению читателя суждение о том, справедлива ли изложенная нами теория в абсолютном своем развитии, когда она утверждает, что *никакой* род труда не заключает сам в себе ничего неприятного. Экономическое устройство, которое считается рациональным в этой теории, до сих пор еще не осуществлено, и потому нельзя с достоверностью знать, в том ли именно размере изменится при этом устройстве характер *всякого* труда, как предполагает она.

Но если при нынешнем состоянии общественных учреждений и знаний нельзя с математическою точностью доказать, чтобы *никакой* род труда не имел в своей сущности ничего неприятного, то еще менее можно сказать, чтобы наука давала нам право утверждать противное. Вопрос этот принадлежит к тем очень многочисленным вопросам, на которые при нынешнем состоянии знаний невозможно давать ответов, имеющих математическую безусловную точность, а можно отвечать только с приближительною точностью, впрочем совершенно удовлетвори- тельною для практики.

Действительно ли во всех *без исключения* родах труда неприятные ощущения происходят *единственно* от внешней неблагоприятной обстановки? Действительно ли *никакой* род труда не заключает сам в себе абсолютно *ничего* неприятного? Этого нельзя решить при нынешнем состоя-

нии знаний; но и при нынешнем состоянии знаний уже положительно надобно сказать, что *почти* во всех родах труда, и в том числе *во всех важнейших* по экономическому значению, *почти* все неприятные ощущения производятся не самою сущностью труда, а только внешнею, случайною обстановкою его; что почти все роды труда, и в том числе все важные роды его, имеют по своей сущности приятность или привлекательность, которая далеко превышает их неприятную сторону, если даже есть в их сущности неприятная сторона (существование которой сомнительно), так что при отстранении неблагоприятной, случайной и внешней обстановки почти всякий, и в том числе всякий важный в экономическом отношении, труд составляет для трудящегося не неприятность, а удовольствие.

Это подтверждается ежедневным опытом и естественными науками. Каждый на себе и на других может замечать, что труд часто доставляет ему наслаждение. Анализируя эти случаи и случаи противного, когда труд составляет не удовольствие, а обременение, каждый может видеть, что ощущение приятное производится трудом всегда, когда существуют следующие три условия: во-первых, когда труду не препятствуют слишком сильные внешние помехи; во-вторых, когда человек совершает его по собственному соображению о его надобности или полезности для него самого, а не по внешнему принуждению; в-третьих, когда труд не продолжается долее того времени, пока мускулы совершают его без изнурения, вредного организму, разрушающего организм. Анализ показывает, что неприятность труда всегда происходит от неисполнения этих условий.

Легко заметить, что труд не отличается в этом отношении ни от какой другой органической деятельности. Каждая из них становится неприятной при неисполнении условий, перечисленных нами. Например, никто не скажет, чтобы еда хорошей пищи или слушание хорошей музыки, или какие-нибудь гимнастические развлечения вроде танцев, прогулки и т. п. были сами по себе неприятны; напротив, сами по себе они составляют удовольствие, наслаждение. Но если человек танцует не потому, чтобы ему самому вздумалось танцевать, а по какому-нибудь внешнему понуждению, танцы уже составят для него обременение, скуку, досаду. Точно так же они становятся неприятны, когда продолжаются более, нежели сколько времени может заниматься ими организм без изнурения. Это мы постоянно замечаем на балетных танцовщицах; заме-

чаем на самых любящих танцы молодых людях, когда бал происходит или в неудобное для них время, или они отправляются на него не по собственному желанию, или когда он тянется слишком долго. Самый приятный концерт, самый приятный спектакль становится неприятен для меломанов и театралов, если бывает слишком продолжительным. Когда желудок уже пресыщен пищею, самое вкусное блюдо становится отвратительным, и если нельзя от него отказаться, то еда бывает большою неприятностью.

Из этого мы видим, что приятность или неприятность труда подчинена тем же самым условиям, как приятность или неприятность всех других органических деятельностей. Труд различается в этом смысле от светских развлечений и разных родов физического или умственного наслаждения не тем, чтобы его неприятность происходила не точно от таких же внешних обстоятельств, от каких получают неприятность еда, танцы, слушание концертов и т. д., а просто только тем, что при труде гораздо чаще бывают эти неблагоприятные внешние обстоятельства, нежели при собственно так называемых удовольствиях или занятиях, обыкновенно называемых приятными. Чрезвычайно редко бывает, чтобы человек ел по внешнему принуждению или больше, чем приятно для него; но чрезвычайно часто бывает, что человек трудится по внешнему принуждению, или больше, нежели удобно для его организма.

Из этого возникает новый вопрос: отчего же происходит, что труд гораздо чаще совершается под условиями, дающими ему неприятность, нежели совершаются те органические деятельности, которые собственно называются удовольствиями? Происходит ли эта слишком частая неблагоприятность внешней обстановки от самых предметов, на которые обращен труд, или от причин, столь же посторонних, как те, которыми производится неприятность удовольствий? Подробное исследование этого вопроса найдет свое место в учении о распределении продуктов труда, составляющем вторую книгу в трактате Милля. Здесь мы предварительно, и только мимоходом, заметим лишь одно обстоятельство: те явления общественной жизни, которые называются удовольствиями, бывают обыкновенно производимы обращением человеческой мысли и воли собственно на произведение именно этих явлений. Например, если происходит спектакль, он происходит собственно оттого, что люди, составлявшие его, хотели устроить именно спектакль, а не что-нибудь другое. Поэтому они и устраивали дело так, чтобы оно происходило



с наимвозможно лучшим устранением всех невыгодных для него обстоятельств. Например, они устроили спектакль в удобном для зрителей здании, чтобы ветер, дождь или холод не мешал публике заниматься собственно тем делом, за которым она пришла в театр, то есть смотрением на сцену; время для спектакля выбрано такое, в какое удобнее всего публике заниматься спектаклем. Словом сказать, приняты все возможные меры для удобства дела. Невозможно сомневаться в том, что именно только сосредоточением забот собственно на этом пункте достигается приятность спектакля для публики. Попробуйте снять крышу с оперы, и все уйдут из нее с негодованием, и разве только палкою загоните вы публику в оперу, пока крыша остается раскрытой. Попробуйте назначить начало оперы в три часа дня, когда всем хочется обедать, или в три часа утра, когда всем хочется спать, а не ехать в спектакль, и почти никто не пойдет в оперу добровольно, да и те немногие, которые пойдут, уйдут из нее с недовольством.

Подумаем же теперь о том, с какими целями, по каким соображениям, для каких дел организовано общество во всех странах? Руководились ли народы заботою о наивыгоднейшей обстановке труда, когда давали обществам своим то устройство, которое до сих пор сохраняется в существенных и важнейших чертах? Подробное исследование об этом дело истории, а не политической экономии; мы можем здесь представить только готовый вывод, даваемый историею и несомненный для людей, сколько-нибудь знакомых с нею. Для ясности возьмем определенный факт, например, хотя Францию, история которой наиболее известна у нас. Франки, основавшие нынешнее французское общество, пришли в страну, овладели ею и дали ей известное устройство не для того, чтобы трудиться, а чтобы воевать, грабить и праздношатательствовать. Надобно сказать, что устройство, ими данное Франции, прекрасно соответствовало этой цели. Но политическая экономия находит, что условия, нужные для такой цели, совершенно противоположны условиям, какие нужны для удобства труда. С X или XI века (до той поры продолжалось без всяких перемен положение вещей, созданное в IV и V веках) Франция испытала много изменений в своем общественном устройстве. Нам нет нужды рассматривать, как велика произошедшая от этих перемен разница между XI и XIX веком в нравственном, умственном, юридическом отношениях; но об экономической сфере французского быта надобно сказать, что мы можем сколько нашей душе угодно восхищаться громадною произошедших пере-

мен, а по точном исследовании они все-таки оказываются преобразовавшими до сих пор только некоторые второстепенные подробности быта, существовавшего в XI веке, а вовсе не существенные черты его, не коренные его основания. Доказывать это — дело не политической экономии, а истории и статистики. Но так как вывод, приводимый нами из этих наук, покажется нов для многих, то мы обратим внимание, для пробы, хотя на одну черту, едва ли не самую важную, на состояние поземельной собственности. Можно сколько угодно говорить об огромности конфискаций, произведенных в конце прошлого века, об упадке французской аристократии по материальному богатству и т. д., но статистика говорит, что почти вся та масса земли во Франции, которою владело потомство франков в XI столетии, до сих пор остается в руках их потомков. Массу населения во Франции составляют потомки кельтов и латинских племен; но едва ли не половина земли во Франции и ныне, в 1860 году, принадлежит малочисленным потомкам тех малочисленных франков, которые взяли себе эту землю при Хлодвиге и его преемниках. Ни один французский статистик не отваживается утверждать, чтобы больше половины земли принадлежало во Франции людям, ее возделывающим, и все согласны в том, что другая половина принадлежит людям не земледельческого сословия. Этого одного факта уже довольно. Ясно, что весь порядок земледельческого производства должен определяться во Франции надобностями и удобствами людей, которые живут доходом с земли, не возделывая ее; потому что, когда половина производства зависит прямо от людей сильных, то и другая половина должна подчиняться косвенному их влиянию. Землепашец, владеющий 5 или 6 гектарами земли, по необходимости должен оставаться при таком характере производства и при таких условиях труда, какие налагаются на французское общество удобствами больших землевладельцев, поместьями которых окружен его ничтожный участок и в зависимости от которых он сам находится по всевозможным общественным отношениям. Повторяем, что доказательств нашим словам надобно искать в истории и статистике; мы берем здесь уже готовый результат исследований из этих наук, и кто знаком с ними, для того справедливость представляемого нами вывода несомненна. Экономический быт Франции с XI века изменился в очень значительной степени; но все-таки перемены до сих пор не так велики, чтобы экономическое устройство французского общества ныне существенно отличалось по отношению к обстановке труда от того устрой-

ства, какое Франция имела в XI или даже V веке. Перемены значительны и хороши, мы против этого не спорим; мы говорим только, что они еще не получили до сих пор такой значительности, чтобы условия труда во Франции соответствовали, хотя сколько-нибудь требованиям науки. В сущности остается во Франции порядок дел, устроенный для войны, для праздности, но не для труда.

То, что мы сказали о Франции, применяется еще в гораздо большей степени к другим странам Западной Европы. Северная Америка до сих пор жила европейскими преданиями. Обстановка труда до сих пор везде чрезвычайно неблагоприятна, потому что дается ему такую организацию общества, которая была устроена для деятельностей, совершенно не похожих на труд и требующих характера отношений, противоположного тому, какой нужен для труда.

Если от этой обстановки, неудобной для труда, мы обратимся к самой сущности труда, то естественные науки заставляют нас утверждать, что труд по своей сущности составляет для человека приятность. Мы говорим это собственно о физическом или мускульном труде, потому что привлекательность умственного или нервного труда известна по опыту каждому, в чьей голове труд этот достигает или когда-нибудь достигал какой-нибудь энергии. Мускульный труд, по прекрасному разъяснению Милля, состоит исключительно в движении, и мускулы имеют движение единственным родом деятельности, к какой способны. Выражаясь техническим языком, движение составляет функцию мускулов, как зрение составляет функцию глаза, слушание — функцию ушей, мышление — функцию головного мозга, пищеварение — функцию желудка. Естественные науки говорят, что приятное ощущение получается каждым из наших органов тогда, когда он с известною степенью энергии занят своею функциею. Например, зрение доставляет нам приятность, когда предмет, на который смотрит наш глаз, занимателен для нас, то есть когда он возбуждает в глазе довольно значительную энергию деятельности; мы имеем приятное ощущение в желудке, когда он приобрел достаточное количество материала, нужного для его деятельности. Неприятное ощущение от известной части организма производится или отсутствием материала для ее деятельности, или внешним препятствием совершать эту деятельность. Одним из препятствий бывает чрезмерность материала, который массою своею превышает силы организма. Например, такое количество света, при котором глазу удобно

смотреть, доставляет глазу удовольствие; но когда свет слишком яркое, то есть когда глаз получает такое количество его, которого не в силах переработать удобным для себя образом, глаз страдает; точно так же желудку неприятно, когда пищи в нем уже слишком много. Но недостаток материала, то есть невозможность заниматься своей функцией с надлежащей энергией, также производит в органе неприятное чувство. Когда зрению нечем заняться, мы чувствуем скуку; когда нечем заняться желудку, мы чувствуем голод<sup>\*</sup>.

Прилагая эти общие выводы естественных наук к мускулам и к их функции, то есть к движению, то есть к труду, мы должны сказать, что отсутствие нужного количества труда должно производить в мускулах чувство неудовлетворенности, соответствующее чувствам скуки, тоски, голода; должны сказать, что, наоборот, чрезмерностью труда должно производиться в мускулах также неприятное чувство изнурения, соответствующее рези в глазу и чувству обремененности в желудке; а таким количеством труда, которое не превышает сил мускулов, должно производиться в них ощущение приятное, какое производится не чрезмерным количеством света на глаз, не чрезмерным количеством пищи на желудок<sup>\*</sup>.

Мы видим, что из этого длинного рассуждения получается краткий вывод, до того простой, что когда придешь к нему, удивительно становится, каким образом могла явиться односторонность или ошибка, вызвавшая нужду в исследовании и доказывании того, что для всех всегда было ясно и понятно без всяких исследований. Мы пришли к выводу, что труд должен быть сообразен с силами человека и что он дурен, то есть неприятен, тогда, когда превышает их. О чем тут рассуждать, что тут доказывать? Но мы еще будем иметь много случаев видеть, как важна практическая разница между истиною, очевидною до на-

---

<sup>\*</sup> Мы берем понятие о функции мускулов, движения, а понятие, равносильное понятию физического труда, состоящего исключительно в движении. Движение, составляющее труд, отличается от других родов мускульного движения, как, например, от игры, гигиенического движения и т. д., только тем, что совершается по внушению расчета о своей пользе для материального благосостояния. Нет надобности говорить, что взрослый и рассудительный человек отдает этому расчету преимущество над всеми другими личными своими побуждениями. и потому скучным и глупым кажется ему всякое движение, производимое не по расчету о материальном благосостоянии. Политическая экономия признает личный интерес сильнейшим или даже единственным важным двигателем человеческой жизни. Чем более важное место мы приписываем ему, тем полнее охватывает труд всякую мускульную деятельность.

чала научных исследований о ней, и тою же истиною, уже выдержавшею отрицание и подтвержденною научным исследованием. [...]

**ЗАМЕЧАНИЯ НА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ  
ПЕРВОЙ КНИГИ МИЛЛЯ**

**РАЗЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА МАЛЬТУСОВОЙ ТЕОРИИ**

**I. <История Мальтусовой теоремы**

Обстоятельства, породившие теорию Мальтуса, вероятно известны каждому читателю; но мы все-таки припомним их здесь, потому что это поможет разъяснению сущности дела.

Идеи, выразившиеся событиями французской революции, имели себе сильный отголосок и в Англии, откуда были принесены во Францию первые зародыши их. Масса английского общества в первые годы революции сильно сочувствовала ей, и поэтому приобрели большое общественное значение в Англии демократические писатели. Самым замечательным из них по таланту был Годвин. Его «Исследование о политической справедливости»<sup>5</sup> имело громадный успех. В то время, когда явилось оно (1793 г.), в Англии уже начиналась реакция, но большинство образованной публики еще сочувствовало идеям, начавшим подвергаться правительственному преследованию. Реакция еще не окрепла настолько, чтобы иметь замечательных теоретических защитников. Благодаря войне с Францией, она быстро росла в следующие годы, и под ее влиянием английское общество начало находить, что идеи, еще недавно очаровавшие его, непрактичны, губительны и преступны. Пока не было этого расположения умов, не могло являться таких апологий старины, которые имели бы теоретическое достоинство. Берк и другие бесчисленные панегиристы прежнего порядка писали только воззвания к предрассудкам, <которые> могли нравиться лишь невеждам или людям, заинтересованным в сохранении злоупотреблений. Теперь пришла иная пора. Люди рассудительные, люди нерасположенные защищать злоупотреблений, друзья прогресса стали думать, что французская революция — отвратительное безумство, а принципы ее ложны. Этим новым расположением умов скоро было (в 1798 году) порождено и теоретическое опровержение покинутого обществом увлечения. Этому внутреннему от-

ношению идей соответствовал даже и внешний повод, из которого возникла книга Мальтуса. Чтение одной из статей Годвина, «О скупости и расточительности» (она явилась в 1797 году в периодическом издании Годвина «Исследователь», *Inquirer*), возбудило в Мальтусе потребность заняться защитой учреждений, против которых восставали революционные писатели<sup>6</sup>.

Старые учреждения никогда не имели недостатка в защитниках. Но политические тенденции той части английского общества, публицистом которой явился Мальтус, были таковы, что все прежние возражения против революционных идей казались ей неудовлетворительны; неудовлетворительными казались они и самому Мальтусу. Он принадлежал к партии умеренных либералов, которые рассуждают очень свободно, пока дело идет о второстепенных учреждениях, очень любят личный и почтенный прогресс и становятся консерваторами лишь тогда, когда усиливаются в обществе революционеры, не ограничивающиеся критикой маловажных подробностей, а стремящиеся изменить самые основания существующего порядка. Прежде противниками демократических идей в Англии были только приверженцы застоя, защитники средневековых учреждений; их возражения против демократов основывались на реакционных принципах, вели к провозглашению справедливости и пользы средневековых учреждений; партия, к которой принадлежал Мальтус, была враждебна тем особенностям, которыми XIII век отличался от XVIII; она считала благом те принципы, на которых основывался общественный порядок в прежние все периоды высокого общественного развития. Аргументы реакционеров защищали не сущность этих принципов, а средневековые формы их; для умеренных либералов нужна была другая теория, которая отвергала бы стеснительные средневековые подробности, показывала бы необходимость только коренных принципов и допускала бы некоторый прогресс в их развитии. Такая теория и оказалась результатом исследований Мальтуса.

Дух книги Мальтуса таков: надобно заботиться об улучшении существующих учреждений, а не разрушать их, не стремиться к основанию общественного устройства на иных принципах, потому что никакие иные принципы не могут дать обществу большего благосостояния, чем какое дается нынешним коренным его принципом, частной собственностью.

Но умеренно-либеральное настроение не может неизменно господствовать над общественным мнением: оно

чередуются с радикальным и реакционным настроением. Умственная история общества состоит в постоянной смене этих трех расположений. Недостатки существующего вызывают критику; она сначала обращается лишь на недостатки, заметные с первого взгляда; это пора умеренных либералов; но критическая мысль, развиваясь далее, находит, что под явлениями, очевидно неудовлетворительными, лежат принципы, на которых построен весь общественный порядок, что второстепенных явлений нельзя устранить, не устраняя этих коренных причин; тогда умеренно-либеральная критика переходит в радикальную; так, за Монтескье явился Руссо; за Мирабо — Робеспьер. Привычка к коренным принципам общественного устройства чрезвычайно сильна в массе, и огромное большинство общества скоро замечает, что радикалы, увлекшие его, идут гораздо дальше, чем может оно идти по своим понятиям, что вместе с недостатками, которыми оно тяготилось, ниспровергают они вещи, которыми оно очень дорожит. Тогда начинается другое настроение мыслей: касаться оснований общественного устройства — это злодейство или безумие; довольно устранить второстепенные недостатки. Опять настает пора умеренного либерализма: за конвентом следуют директория и консульство; законы для Франции снова составляются под влиянием Сиеса, Талейрана и других, замолкавших во время конвента. Но мысль, породившая переход от радикализма к умеренному либерализму, продолжает развиваться, и общество начинает думать: «не в том дело, дурны или хороши, сами по себе, второстепенные явления, против которых восстают умеренные либералы, защищающие неприкосновенность основных принципов; дело в том, что эти явления неразлучны с основными принципами, что уничтожить их значит подрывать и основные принципы; а этих основных принципов нельзя касаться, следовательно, надобно также сохранить или восстановить явления, необходимые для них». Это период крайней реакции; Наполеон с насмешкою отталкивает Сиеса и перестает слушать Талейрана; конституционный порядок директории, ставший почти только призраком во время консульства, переходит в полный абсолютизм империи. Тут опять начинается прежняя история. Общество, увлекшееся реакцией, начинает тяготиться ею; оно думает: «основания существующего порядка хороши, но есть в нем второстепенные тяжелые неудобства и надобно устранить их». С этим опять настает пора умеренного либерализма, поднимают голос против Наполеона Бенжамен Констан и Лафайэт, бывшие бес-



сильными во время увлечения общества империей: она падает, и никакие усилия эмигрантов не могут обратить ее падения в пользу новой реакции, потому что поток мыслей стремится по противоположному направлению, от реакции к либерализму. Сначала либерализм очень умерен: Бен-жамен Констан, Ройе Колар и Гизо совершенно удовлетворяют требованиям большинства, и Франция живет под конституционной хартией 1814 года; но развитие критики идет дальше, реставрация сменяется июльской монархией, потом дело доходит и до февральской революции, и опять за революционным периодом следует либерализм Кавеньяка, кончающийся абсолютизмом новой империи<sup>7</sup>

Такова вечная смена господствующих настроений общественного мнения: реакция ведет к умеренной, потом к радикальной критике; радикализм ведет к умеренному, потом к реакционному консерватизму, и опять от этой крайности общественная мысль переходит в противоположную крайность через умеренный либерализм. Этим переменам подверглась и теория, возникающая из факта, резко выставленного вперед Мальтусом.

Мы видели, что книга Мальтуса принадлежала первой половине движения общественного мнения от радикальных стремлений к реакции. Мальтус говорил: основания экономического устройства не должны быть изменяемы, но должно заботиться о частных улучшениях. Разумеется, факт, им указанный, повел к иным заключениям, когда восторжествовало совершенно реакционное расположение мыслей.

Мальтус говорил: главная масса бедствий, которым подвергает людей нищета, происходит не от человеческих учреждений, против которых восстают радикалы; нищета с своими последствиями производится законом самой природы, действие которого не усиливается, а, напротив, смягчается учреждениями, основанными на частной собственности; ввести равенство и общность имущества значило бы только дать больше простора действию естественного закона, вносящего в массу всякого общества нищету со всеми ее страданиями и пороками. Реакционеры вывели из этого заключение, очень логическое и совершенно отвергавшее либеральную примесь, которая у самого Мальтуса сглаживала жесткость основной мысли. Если нищета и страдания происходят от естественного закона, непобедимого никакими человеческими учреждениями, сказали они; если уменьшать неравенство в распределении собственности значит только увеличивать массу нуждающихся, то не напрасны ли или, лучше сказать, не



вредны ли всякие заботы об улучшении общественного быта? Его недостатки спасительны; учреждения и обычаи, против которых восстают либералы, охраняют общество от бедствий, гораздо больших, чем какие приносят. Эти выводы, возмущавшие людей слабохарактерных, неопровержимо вытекали из коренной мысли Мальтуса. Порок — дурная вещь, но он задерживает размножение людей, которое наделало бы несчастий, гораздо больших, чем порок, если бы не задерживалось им; война истребляет множество людей, но если б не было войны, люди стали бы размножаться так, что от голода умирало бы их больше, чем умирает от войны. Вообще все, что считается бедственным, служит предохранением от гораздо больших бедствий, и потому должно в сущности считаться благодетельным. Преступления, разврат, насилия всякого рода, — это ножи, которыми рука природы прочищает ветви дерева, беспреестанно разрастающиеся до излишней густоты, так что все дерево заглохло бы, засохло бы без этой прочистки. Если бы люди, говорившие это, были вполне последовательны, они должны были бы сказать, что надобно заботиться не об уменьшении, а об увеличении страданий массы людей: надобно не противодействовать, а покровительствовать всяческому порокам. Но перед таким выводом они останавливались, и вместо того, чтобы говорить: «надобно делать общественные учреждения и обычаи как можно более дурными», они говорили только: «напрасно исправлять их».

Сам Мальтус вовсе не хотел такого вывода. Он был друг улучшений, лишь бы не коренных улучшений. Но принципы, высказываемые людьми умеренными, всегда ведут к следствиям гораздо более резким, чем хотят сами эти люди: когда общество от умеренно-либерального расположения переходит к реакционному или радикальному настроению, оно открывает в мыслях, имевших умеренный тон, принципы реакционных или радикальных теорий.)